



Командиры полков разъезжались после встречи Нового года у командира дивизии. Последним уехал командир 332-го, майор Барабанов. Серпилин молча, со значением пожал ему руку: «Знаю, что еще добавишь, но много не добавляй. Понял меня, Барабанов?»

Хоть и подмывало сказать это вслух, удержался. Все же — командир полка. Если дать привыкнуть человеку к тому, что не надеешься на его совесть, можешь потерять и ту, что осталась.

Принимали гостей в землянке у начальника штаба, полковника Пикина, — самой просторной из всех и даже с присланным женою ковром над койкой. Провожая, оделись и вышли на воздух втроем — с Пикиным и замполитом, полковым комиссаром Бережным.

— Двадцать три ровно, — сказал Пикин, заворотив рукав полушубка и посветив фонариком на часы. — Первый этап встречи завершили по плану, не задержали. К бою курантов будут у себя на местах и поднимут — кто на что способен!

— Хотелось бы, чтобы некоторые были способны на меньшее, — сказал Серпилин. — Беспокоюсь за Барабанова...

— Ничего, Левашов его удержит, — сказал Бережной.

— Как же, удержит твой Левашов!

— А что, характер на характер...

Серпилин не ответил: не хотелось ни спорить, ни говорить. Хотелось молча постоять под высоким морозным небом, почувствовать его высоту и торжественность.

Стояла тишина, еле слышно шуршала поземка. Волга была невидима отсюда, она лежала во льдах, далеко-далеко, за левым флангом фронта, но Серпилин все равно незримо чувствовал ее сейчас — и ее холод, и ее ширину, за которой тянулись безбрежные снега Заволжья, и в них — переметенные, просвистанные ветрами снежные дороги и тонкая, как брошенный в снега черный волосок, одноколейная ветка от Красного Кута на Эльтон — глубокие тылы, госпитали, госпитали...

Впереди был Сталинград, так и не взятый до конца немцами, а теперь уже шесть недель окруженный нами. Там, в ледяной ловушке, заняв круговую оборону по всему огромному кольцу в двести километров, сидели немцы — двадцать две дивизии, — сидели и ждали! Серпилин хорошо представлял себе, чего могут ждать люди в окружении, — ждали и нашего штурма, и выручки, и приказа пробиться, и чуда, и гибели — всего вместе.

А мы после ноябрьских и декабрьских боев уже третью неделю все не штурмовали и не штурмовали — готовились. И сегодня, этой новогодней ночью, здесь, северо-западной Сталинграда, война только чуть слышно шевелилась. На переднем крае разорвалась одиночная мина, стукнула пулеметная очередь, потом еле слышно, как далекий вздох, донесся отзвук сильного взрыва там, внутри кольца у немцев, и снова все затихло.

Всю войну, во всей ее огромности, нельзя было даже вообразить себе до конца. Но Серпилин, слушая тишину здесь, где в ожидании наступления стояла его дивизия, хорошо представлял себе, что такое эта сегодняшняя ночь там, где теперь идет главная война, — на юге, в голых степях на полдороге к Ростову, или на юго-западе, тоже в степях, под Тацинской, или на Воронежском фронте, режущем сейчас немецкие тылы за триста километров отсюда, у Черткова и Миллерова.

Там война пахла бензином и копотью, горелым железом и порохом; она скрежетала гусеницами, строчила из

пулеметов и падала в снег, и снова поднималась под огнем на локтях и коленях, и с хриплым «ура», с матерщиной, с шепотом «мама», проваливаясь в снегу, шла и бежала вперед, оставляя позади себя пятна полушубков и шинелей на дымном, растоптанном снегу.

Там, где сегодня происходило самое главное, для людей вообще не существовало никакой новогодней ночи: они просто не помнили о ней.

Серпилин был военным человеком и знал, что на войне не бегают с места на место, ища, где пожарче: на войне ждут своего часа. Он не мог сейчас оказаться со своей дивизией там, в самом центре сотрясавшего равнины южной России землетрясения, но хотя его ум был неподатлив к таким мыслям, сердце чувствовало доносившиеся оттуда торжественные и страшные толчки. И это прозвучало в его голосе, когда он после долгого молчания сказал:

— Да, у нас пока тишина...

— В такую ночь и нам бы не молчать, а воевать! — сказал Бережной.

— Ну что ж, сходи на передний край, постреляй из пулемета! По крайней мере, будет что в политдонесении писать: активные боевые действия, воюем, не молчим, не теряем боевого духа... — насмешливо ответил Серпилин.

Слова Бережного задели его. Водится же еще за людьми эта глупая привычка прийти на передний край и, если там как раз в эту минуту тихо, непременно открыть огонь, вызвав ответный, как будто солдатам мало того, что и так достается на их долю. Бережной это «поднять активность» называет, а на самом деле — просто мальчишество. И вдобавок не по возрасту: скоро сорок стукнет! До каких пор можно радоваться, что ты храбрый, и доказывать это с риском для своей и для чужой жизни!

— Да разве я об этом, Федор Федорович? — Бережной готов был вспылить, но сдержался.

— А о чем же, Матвей Ильич?

— Я вообще сказал...

— Что значит «вообще»? В наступление, что ли, предлагаешь перейти нынче ночью? Как, поставим армию в известность или сами начнем, пусть присоединяются?

— А чего ты ко мне прицепился, Федор Федорович, ради праздника, что ли? — огрызнулся Бережной.

— А того я к тебе прицепился, друг ты мой дорогой, что я вчера на совещании у командующего уже слышал эту блестящую мысль, чтобы сегодня ночью пошуметь, немцам Новый год испортить. А заодно — и себе. Слышал и возражал. Высказал точку зрения, что, если всерьез воспользоваться новогодней ночью для наступления, — это резон. А если просто пошуметь, так надо и себя и солдат пожалеть, не портить им такой ночи. Немцы, кстати, не столько Новый год, сколько Рождество празднуют. В сочельник надо было шуметь. Спасибо, член Военного совета поддержал. Только сверху отбил, а ты уже снизу жмешь.

Серпилин с невидимой в темноте улыбкой обнял Бережного и дружески похлопал его по плечу.

— Не обижайся ради праздника, а то весь год ссориться будем! Еще поглядим, всюду ли тишину соблюдут. Командующий оставил это на усмотрение командиров дивизий.

— Соседи пока молчат, — сказал Пикин.

— Они и там, у Батюка, оба молчали, — сказал Серпилин. — Только потом, когда я возразил, а Захаров меня поддержал, по лицам понял, что и они за тишину.

— Батюка своими возражениями расстраивать не хотели, — съязвил Пикин.

— А я, думаешь, хотел? — сказал Серпилин. — Все люди — человеки, сидел да ждал, может, кто другой первым встанет.

— Уже двадцать три десять, — сказал Пикин, снова посветив фонариком на часы.

— Вижу, ты совсем бога не боишься, скоро с фарами ездить начнешь...

— А, не до этого им теперь! — Пикин махнул рукой в сторону немцев. — Вернемся? А то пробирает...

— Ко мне в землянку милости прошу, — сказал Серпилин. — Куранты послушаем, чайку попьем...

— Идите, я сейчас тоже приду, — сказал Пикин, — только захвачу одну вещь.

Он повернулся и пошел к своей землянке, а Серпилин и Бережной зашли в землянку Серпилина.

— Птицын, чайку нам сообразите, — сказал Серпилин своему ординарцу, проходя вместе с Бережным через переднее отделение землянки, которое он называл «предбанником».

В «предбаннике» стоял топчан Птицына, завешенный плащ-палаткой, и была сложена самодельная печка, зеркалом выходявшая в другую, главную часть землянки.

— Что, в самом деле чай пить будем? — спросил Бережной, когда они сели за стол.

— В самом деле. Разве что Пикин мой план нарушит. Не обиделся, что покритиковал тебя при нем?

— При нем, не при нем, какая разница? Мы с Пикиным столько раз друг друга во всех видах видели, что какие уж секреты!

— Это, положим, верно, — сказал Серпилин.

А про себя подумал, что не задал бы такого вопроса — обиделся или не обиделся Бережной, если бы не та перемена в положении Бережного, что произошла недавно: был комиссаром дивизии, а стал, после приказа о единоначалии, замполитом. Приказ этот, по глубокому убеждению Серпилина, был совершенно правильный, он лишь ставил точки над «і», подтверждал то бытие, которое практически сложилось на войне. А если этот приказ где-то и менял отношения между командиром и политработником, то только там, где они по слабости командира или по взаимному непониманию складывались неверно, во вред войне, которая не новгородское вече! У них с Бережным, слава богу, этого не было. Однако Серпилин все

же чувствовал, что Бережному в душе жаль с юности привычного и доброго слова «комиссар». Даже при наилучших отношениях в такой перемене служебного положения была своя боль.

То ли Бережной понял, о чем думает Серпилин, то ли сам думал об этом, но, с минуту просидев за столом, он сказал:

— Поменьше заботься, Федор Федорович, о том, чтобы меня в моем новом положении не задеть. Имей в виду, мы, политработники, о своих званиях в последнюю очередь заботимся!

— То есть это как понять? — спросил Серпилин. — Вы, политработники, борцы за идею, а мы, командный состав, только и мечтаем о чинах да званиях? Так, что ли?

— Вот это — другое дело, вот это я тебя узнаю! — рассмеялся Бережной. — Вот так и дальше не будем другу другу спуска давать! А то я за последнее время заметил: ты меня, как инкубаторного цыпленка, все в вату заворачиваешь.

— Ну уж и в вату! — смущенно усмехнулся Серпилин и вдруг спросил о том, о чем уже давно собирался спросить: — А как у тебя в полках замполиты свое новое положение переживают?

— Ничего. Раз партия приказала — переживут, — сказал Бережной. — Только один Левашов со мной разговор имел, просился, как новые звания присвоят, сразу же дать ему строевую должность, не хочет ходить в заместителях у Барабанова, живет с ним как кошка с собакой. А что, из него добрый комбат выйдет!

— Может, и больше комбата выйдет, — задумчиво сказал Серпилин, — да полк жаль лишать такого политработника. А если Барабанов на полку останется, тем более.

— А он останется?

— Не растравляй рану. Знаешь же, что изнасиловали меня! Вот так отступишь, не поставишь вопрос на попа,

а потом ночей не спишь: во что обойдется твой грех? Начинать наступление с командиром полка, в которого слабо верю, — мозоль на душе!

— Брось расстраиваться, Федор Федорович, — сказал Бережной, — дивизия у нас хорошая, один Барабанов обедни не испортит.

— Это как сказать!

Ординарец принес чайник, заварку и стаканы.

— Такие дела, комиссар, — по привычке называя так Бережного, сказал Серпилин, переждав, пока не вышел ординарец. — Сержусь на себя, что взял Барабанова. В первые дни приглядывался, мечтал, что командующий прав, а я ошибаюсь. Теперь ко всему выяснилось, что еще и пьет! Какие уж тут мечты! Тебе как, покрепче?

— Покрепче. После таких разговоров действительно только чай пить, — рассмеялся Бережной.

— А вот и Пикин, — сказал сидевший лицом к двум Серпилин. — Что это ты тащишь?

Пикин скинул полушубок и торжественно поставил на стол бутылку шампанского.

— Удивил! — сказал Серпилин.

— Сам удивляюсь, — подсел к столу Пикин. — Супруга еще ко дню рождения с оказией прислала, а я додержал. Откроем?

— Да уж потерпим до двадцати четырех, — сказал Серпилин. — Пока чаю выпей.

— Так подожду, — сказал Пикин. — Дай, Федор Федорович, итоги, что ты нам читал, хочу своими глазами...

Серпилин полез в карман гимнастерки и достал несколько листков, густо исписанных разборчивым писарским почерком. Это были «Итоги шестинедельного наступления наших войск», переданные из Москвы и записанные дивизионными радистами. С чтения вслух этих итогов и началась сегодня новогодняя встреча. Размножив под копирку, их дали перед отъездом командирам полков, чтобы в полках и батальонах за ночь сняли как



можно больше копий и утром довели до каждого солдата, не дожидаясь армейской газеты.

О силе впечатления Серпилин судил по себе. Ни одна работа на свете не поглощает человека так целиком, как работа войны. И вдруг, когда он сегодня в первый раз, еще не вслух, а про себя прочел шестинедельные итоги боев, он ощутил весь тот истинный масштаб событий, который обычно скрадывался повседневными заботами, с утра до ночи забивающими голову командиру дивизии. Его дивизия была всего-навсего малой частью того действительно огромного, что совершилось за последние шесть недель и продолжало совершаться. Но это чувство не имело ничего общего с самоуничижением; наоборот, это было возвышавшее душу чувство своей хотя бы малой, но бесспорной причастности к чему-то такому колоссальному, что сейчас еще не умещается в сознании, а потом будет называться историей этой великой и страшной войны.

А хотя почему — потом? Это уже и сейчас история.

— На, прочти еще раз вслух, — сказал Серпилин, отодвигая стакан с чаем и протягивая листки Пикину.

— «В результате успешного прорыва и наступления наших войск в районе Сталинграда окружены следующие соединения и части немецких войск: 14, 16 и 24-я немецкие танковые дивизии... 71, 76, 79, 94, 100, 113, 297-я...», — читал Пикин, а Серпилин, облокотясь на стол, слушал так, словно слушал все это в самый первый раз.

Пикин читал номера окруженных и разбитых немецких дивизий, цифры уничтоженных и взятых орудий, танков, самолетов, цифры километров, пройденных войсками Сталинградского, Донского, Юго-Западного и Воронежского фронтов, южнее, севернее и западнее Сталинграда, на Верхнем и Среднем Дону, на Калитве и Чире, в донских и калмыцких зимних степях...

Монотонный голос Пикина звучал торжественно и грозно, а у Серпилина на душе творилось что-то странное. Он уже не облокачивался на стол, а сидел у стены,

далеко и от читавшего сводку Пикина, и от Бережного. Отодвинулся так, словно хотел получше разглядеть их обоих. Да так оно и было.

То, что он слышал в чтении Пикина, было как гул, как что-то далекое, грозное и нарастающее, на фоне чего только и могли существовать мысли о собственной дивизии и этих двух людях, сидевших перед ним.

Для того чтобы теперь все вышло так, как читал Пикин, их дивизия должна была еще раньше, до этого совершить все, что выпало на ее долю. А если бы она этого не сделала, то всего, что теперь было, не могло быть.

Да, она сейчас стояла и ждала своего часа, и они наступали там, в крови и дыму. Но для того чтобы они могли сейчас, зимой, наступать там, она все лето и осень подставляла себя под миллионы пуль и десятки тысяч снарядов и мин, ее давили в окопах танками и живьем зарывали в землю бомбами. Она отступала и контратаковала, оставляла, удерживала и снова оставляла рубежи, она истекала кровью и пополнялась и снова обливалась кровью.

О нем говорят, что он умеет беречь людей. Но что значит — «беречь людей»? Ведь их не построишь в колонну и не уведешь с фронта туда, где не стреляют и не бомбят и где их не могут убить. Беречь на войне людей — всего-навсего значит не подвергать их бессмысленной опасности, без колебаний бросая навстречу опасности необходимой.

А мера этой необходимости — действительной, если ты прав, и мнимой, если ты ошибся, — на твоих плечах и на твоей совести. Здесь, на войне, не бывает репетиций, когда можно сыграть сперва для пробы — не так, а потом так, как надо. Здесь, на войне, нет черновиков, которые можно изорвать и переписать набело. Здесь все пишут кровью, все, от начала до конца, от аза и до последней точки...

И если превысить власть — это кровь, то и не использовать ее в минуту необходимости — тоже кровь. Где тут

мера твоей власти? Ведь все же чаще не начальство или, на худой конец, трибунал определяют ее задним числом, а ты сам, в ту минуту, когда приказываешь! Начальство потом в первую голову считается с тем, чем кончилось дело, — успехом или неудачей, а не с тем, что ты думал и чувствовал, превышая свою власть или, наоборот, не используя ее.

Многие из тех решений и приказаний, в соответствии с которыми он обязан был действовать летом и осенью, казались ему сейчас не самыми лучшими, неверными, неоправданными. Но все же, в конце концов, в итоге все, вместе взятое, оказалось оправданным, потому что привело к той победе, о которой напоминал монотонный голос Пикина, уже подходившего к концу и читавшего теперь названия фронтов и фамилии командующих.

Да, оправданно. Но люди, люди!.. Если бы всех их оживить и посадить вокруг...

Он ощутил у себя за спиной молчаливую толпу мертвых, которые уже никогда не услышат того, что он слышит сейчас, и почувствовал, как слезы подступают к горлу.

А Пикин и Бережной, воевавшие вместе с ним с того первого июльского дня, когда дивизия вступила в бой, все-таки живые и здоровые, сидят сейчас здесь, рядом с ним, хотя нельзя сказать, чтоб щадили себя.

Вот сидит Пикин, сухой и прямой, как жердь. Начальник штаба дивизии — Геннадий Николаевич Пикин, который старше всех в штабе, потому что ему уже исполнилось пятьдесят. Сидит Пикин, который был штабс-капитаном еще в царской армии, а потом, в Гражданскую, не воевал, а служил в запасном полку, потому что ему не доверяли, и, кто знает, может, тогда это было и справедливо.

Сидит Пикин, которого в двадцатые годы уволили из Пехотного училища, потому что его жена была сестрой нэпмана, и ему пришлось жить заново, кончать заочный институт и по длинной канцелярской лестнице дослуживаться до главного бухгалтера наркомата.

Сидит Пикин, начавший войну бойцом ополчения и ставший начальником штаба дивизии, которому можно доверять, как самому себе. В нем и сейчас, на войне, осталось что-то от главного бухгалтера и в смысле точности, и в смысле упрямства.

Сидит Пикин, бессонный и неутомимый, но никогда не забывающий вовремя поесть и выпить. Пикин со своей рыжей щеткой усов над губой, со своим сухопарым старорежимным лицом и тощей фигурой, за которую его дразнят в дивизии «Врангелем», со своими исправными письмами толстухе жене, о которой он говорит, что она в двадцатые годы была красивейшей женщиной Москвы, и со своей девчонкой из роты связи, которая неизвестно почему не чаёт души именно в нем, хотя могла бы влюбиться и в кого-нибудь помоложе.

И, знающий о Пикине все, что можно и нужно о нем знать, Серпилин сейчас, глядя на него, испытывает благодарность к нему за то, что он остался жив и сидит здесь и дочитывает эту сводку.

И Бережной жив, хотя от него этого уже и вовсе трудно было ожидать, и тоже сидит здесь и слушает Пикина, и на глаза у него накатываются слезы, потому что он из тех, что и смеются, и плачут без раздумий.

Бережной, с его снятым уже во время войны строгим выговором за брата, бывшего секретаря горкома в Донбассе, о котором он на памяти Серпилина так ни разу и не заговорил; в то, что брат — враг народа, видимо, не верит, сказать это во весь голос не может, а вполголоса не умеет.

Бережной — наголо бритый, короткий, крепкий, с толстой шеей, толстыми, железными руками, шумливый и сентиментальный Бережной, с его шахтерскими словечками и шахтерскими песнями, с его донбасской юностью двадцатых годов и неумелыми стишками в газете «Кочегарка». Он зачем-то до сих пор возит их при себе вместе с юношеской карточкой; оказывается, у него была такая

пышная чернокудрая шевелюра, какой теперь просто и не вообразишь, глядя на его лысую голову.

Бережной — дитя комсомола, а до этого беспризорник, милостью сыпного тифа в пятнадцать лет — круглый сирота и, между прочим, по документам еврей. Об этом мало кто знает в дивизии, да и навряд ли это имеет какое-нибудь значение для него самого.

Бережной, горячий и пристрастный к людям, но при этом всегда готовый, не раздумывая, положить свою жизнь за любого из них.

И ему Серпилин тоже благодарен за то, что он жив и сидит сейчас здесь, рядом с ним, ему было бы очень тяжело потерять вот этого Бережного.

Пикин — это июльский приказ Сталина, тот самый, страшный, после сдачи Ростова и Новочеркасска: «Ни шагу назад!» Его читали перед строем, когда дивизию прямо с эшелона швырнули в бой, чтобы заткнуть дыру еще там, за Средним Доном, далеко от Сталинграда. Но затыкать дыру было уже поздно, и дивизия стала магнитом, с утра до ночи притягивавшим к себе удары с земли и с воздуха. Она приняла на себя часть того, что причиталось другим, кого-то спасла от гибели, но и сама начала гибнуть. Ей уже обрубали фланги и зашли в тыл, а приказа на отход все не было, и о двух везших этот приказ убитых по дороге офицерах связи Серпилин узнал только от третьего. Но еще перед тем, как к ним наконец добрался этот третий, вечером в окопе к Серпилину подошел высохший в щепку Пикин и сказал, тыча в руки бумажку:

— Вот мое заявление.

Серпилин сначала от неожиданности не понял, что это за заявление (даже мелькнула нелепая мысль: не отставки ли просит?), а потом понял и сказал:

— Это не мне — комиссару.

— Не видел его с утра, — сказал Пикин, — и не знаю, увижу ли. Возьмите!

И Серпилин взял и положил в карман гимнастерки и спросил только:

— Хорошо подумали?

— Уж как-нибудь, время было, — сказал Пикин, повернулся и пошел по окопу.

И Серпилин, хотя не спросил его об этом ни тогда, ни потом, понял. Пикин подумал в тот вечер о плене, и свое заявление в партию, которого от него давно ждали, подал, именно подумав о плене. Если они окажутся в плену и им крикнут: «Кто из вас коммунисты?» — начальник штаба дивизии, штабс-капитан царской армии, беспартийный Пикин не хотел поддаться соблазну и остаться в строю, когда его командир дивизии выйдет на шаг вперед. Наверное, в тот отчаянный вечер, когда казалось, что дивизия останется в окружении и погибнет, он хотел до самого конца выдавить из себя мысль о возможной там, в плену, поблажке.

Пикин — это переправа через Дон, после того как половина дивизии полегла там, за Доном. Серпилин в тот день оказался в окруженном полку на отшибе, и, когда на закате все же пробился и вывел остатки полка к переправе, оказалось, что на переправе нет бедлама, который он страшился увидеть, а порядок, и этот порядок навел подошедший сюда с ядром дивизии Пикин. Переташенные за Дон батареи прикрывали переправу огнем, в степи полукольцом поднимались дымы подожженных немецких танков; две счетверенные пулеметные установки у понтонного моста, захлебываясь, бесстрашно, в упор били по пикировавшим на переправу самолетам.

На переправе творился кромешный ад и каждую минуту погибали люди, и все же на ней существовал порядок, и этот порядок обеспечивал Пикин, стоявший на берегу, не в окопе, который ему вырыли, а во весь рост, на самом виду у смерти, потому что сейчас это от него и требовалось.

А в пяти шагах от Пикина, на траве, раскинув руки, лежал мертвый помощник начальника штаба полка по разведке, старший лейтенант Брускин.

— Убили Брускина, — сказал Серпилин, глядя на мертвого.

— Разрешите доложить, товарищ комдив, — сказал Пикин, приложив к козырьку крепко сжатые, недрогнувшие пальцы, — бывший комендант переправы Брускин, самовольно покинувший свой пост, возвращен и расстрелян в связи со сложившейся обстановкой. Лично мной.

И только теперь Серпилин заметил: Брускин лежит на земле в гимнастерке с сорванными петлицами.

Да, Пикин — это тот день на переправе и многие другие такие же дни, и вообще, когда думаешь о Пикине, невольно вспоминаешь самые тяжелые дни, наверное, потому, что там он и оказывался на высоте положения. А легких дней вообще было мало.

Бережной — это тоже нелегкие дни. Бережной — это зарево горящего Сталинграда в тот день, когда немцы прорвались к Волге и пришлось погибать фланг и отходить на север. На горизонте стояло зарево Сталинграда, и они сидели ночью вдвоем в одинокой хате, на перепутье ушедших в тыл дорог, и Бережной плакал от горя и оттого, что, оставшись вдвоем, впервые за много дней и ночей мог дать волю своим чувствам.

Он был ранен, но не вышел из строя. Щека и надбровье у него были рассечены осколком мины, бритая голова наискось забинтована: из одного, открытого глаза текли слезы, а на грязном бинте под вторым, закрытым глазом проступало мокрое пятно, потому что и этот второй, закрытый глаз Бережного там, под бинтами, тоже плакал.

— Да что ж мы творим с тобой? — яростно сквозь слезы спрашивал Бережной. — В июле приказ Сталина читали, клялись всем святым и все-таки до Волги дошли — живые! Какие же мы сволочи после этого!

И хотя в голосе Бережного звучало отчаяние, оно было только минутной оболочкой его решимости сражаться до своего смертного часа.